

БУЛАТ ОКУДЖАВА: К СОРОКОВОМУ ДНЮ КОНЧИНЫ

«Давай, брат, воспарим...»

Так поется в одной из самых удивительных песен Булата Окуджавы: «Давай, брат, отрешимся. Давай, брат, воспарим» («Песенка о дальней дороге»). И вот — отрешился и воспарил, ушел в самую дальнюю, последнюю дорогу. Ушел? А может, вопреки всем обычаям, уехал? В бричке, как в этой песенке:

Покуда ночь длится, покуда бричка катит,
дороги этой дальней на нас обоих хватит.
Или в дрожках, как в другой, которая так и называется — «Путешествие по ночной Варшаве в дрожках»:

Трясутся дрожки. Ночь плывет. Я еду Краковским

Предместьем.
Я захожу во мрак кавярни, где пани странная поет,
где мак червонный вновь цветет уже иной любви

предвестьем...

Я еду Краковским Предместьем.

Трясутся дрожки.

Ночь плывет.

Или «в карете прошлого», как называется непривычно длинное для него стихотворение (почти маленькая поэма), завершающее его последний сборник стихов разных лет «Чаепитие на Арбате»?

Или как в «Песенке о молодом гусаре», где как раз о смерти:

И летят они в райские кущи

на конях на крылатых своих.

Здесь уж, несомненно, души летят в рай, но все-таки на конях — да и кони стали крылатыми, погибнув.

Но на этой «дальней дороге» мы поэту уже не спутники — каждого из нас ждет своя, и один Бог ведет, встретимся ли.

Объяснение в любви

Всего раз в жизни мне довелось сказать Булату Окуджаве, как я его люблю. И — до одного поворота в разговоре — чувствовала я себя при этом ужасно: что может быть хуже «поклонниц»?

Как-то утром я забежала к своему другу и московскому соседу Юлию Даниэлю. Юлика не было дома, но его дождался Окуджав. Я, конечно, тоже осталась дожидаться, хотя бы для того, чтобы поговорить с любимым поэтом. И принялась рассказывать ему, как люблю его песни, как пою их своим сыновьям и т.д. и т.п. Булат слушал утомленно-вежливо, практически не отзываясь. Исчерпав почти все запасы восторгов, я почти безнадежно сказала: «А еще я очень люблю вашу прозу...» И тут он вспыхнул почти недоверчивой радостью.

Любовью к своей прозе Окуджав не был избалован. Ни тогда — это было вскоре после публикации романа «Бедный Авросимов» («Глоток свободы»). Роман, правда, читали взахлеб, но скорее вычитывали в нем намеки на «нашу советскую действительность», в то время как это был истинный «исторический роман» — в том особом понимании, как поется об этом в песне «Я пишу исторический роман»: «Как он дышит, так и пишет». Ни позднее — когда на его «Путешествие дилетантов» обрушился град советской критики, которая, конечно, лучше поэта знала все исторические детали николаевской эпохи.

А он писал исторические романы — как песни. Если песенный, романсовый строй слышен даже в тех стихах Булата Окуджавы, которые остались не положенными на музыку, то не менее слышен он и в его исторической прозе, чему высший пример — «Похлождения Шипова», явно написанные в жанре «жестокоего романа». Но и «Путешествие дилетантов», роман, казалось бы, по самому своему объему невозможный для сопоставления с песней, развивается («развертывается», как сказали бы мои любимые формалисты) на песенный лад.

А точность реальных исторических деталей? Вот вам пример не из прозы, а именно из песни («Батальное полотно»):

Следом — дуэлянты, флигель-адъютанты.

Блещут эполеты.

Все они красавцы, все они таланты,
все они поэты.

Станем ли мы, во имя исторической точности, сомневаться и проверять: все ли они красавцы, все ли они таланты, все ли они поэты? Тот, кто это сочинил, и Тот, Кто водил его рукой, знают лучше. А нам остается лишь с восхищением слушать (да подпевать пластинке, не стесняясь отсутствием голоса и слуха). И, читая «Путешествие дилетантов», я верю каждому слову, каждому повороту, каждой модуляции. «Вымысел — не есть обман».

«Мы связаны, поляки,
всегда одной судьбою...»

После того разговора мне еще удалось передать Окуджаве (через того же Юлию Даниэля) статью о «Бедном Авросимове» из какой-то, уже не помню какой, польской газеты, что, как я знала, особенно его обрадует. О том, чем была для всех нас, для нескольких поколений, Польша, рассказывали уже многие, в частности Иосиф Бродский. О том, как принимали в Польше Булата Окуджаву, о его польских друзьях, о множестве его стихов, связанных с Польшей, лучше расскажут сами поляки. Я же хочу привести лишь одно наблюдение, притом чужое.

В той же квартире на Новопесчаной улице, где мне посчастливилось встретиться с Окуджавой, сказала мне однажды любопытную вещь жена Юлия Даниэля Ирина Уварова (цитирую, конечно, за давностью лет не дословно, но смысл передаю точно):

— Заметьте, Наташа, как сильна сегодня польская тема в русской поэзии: Окуджав, Слуцкий, вы, Бродский... Может быть, русские поэты ищут «Клеветникам России»?

И верно. Если Пушкин — «наше всё» (а это не «если», это так и есть), то мы принимаем его наследство целиком, без изъятий, и за его долги расплачиваемся. Думаю, это было особенно значимо для Окуджавы: ему Пушкин — как никому свой, родной, постоянно всплывающий в стихах, от «А все таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем...» до совершенно удивительного стихотворения «Сталин читает Пушкина» (куда более глубокого, чем — думаю, не без умысла — позволяет догадывать-



Булат Окуджав и Агнешка Осецкая. Варшава, 1978.

ся название, происхождением из известного старого анекдота). Быть может, он не формулировал это столь прямо (как и мне это в голову не приходило до слов умной женщины: «одна умная женщина» — так рассказывала я этот эпизод в своих интервью полякам, когда называть имена живущих в СССР было рискованно), но при его тесных связях с Польшей он, конечно, не мог упустить из внимания «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину».

«Мы связаны, Агнешка...» — так когда-то начиналась песня «Прощание с Польшей», хотя все чаще в магнитофонных записях появлялся вариант «Мы связаны, поляки...». Этот вариант закреплён и в последнем сборнике, хотя «От них у нас, Агнешка, кружится голова» и «Мы школьники, Агнешка...» сохранены. Исчезло, к сожалению, — не знаю почему — и посвящение Агнешке Осецкой. Правда, помню, как в 76-м году в Париже один известный польский оппозиционер недовольно фыркнул: «Хорошая песня, только не кому надо посвящена...» Я сама Агнешку не знала и могла лишь внимать и верить. Но вот умерла она — и из воспоминаний я узнала, например, как она одной из первых в Польше налаживала связи с парижской «Культурой» и оставалась им верна. Так что, может быть, и Булату кто-то что-то нафрыкал, и он, столь щедрый на посвящения, это — убрал.

Однако изменение первой строки, придающее ей большую обобщенность, кажется мне оправданным: каждый из нас может петь ее как свою (а мы ведь и правда поем Окуджаву — не только читаем и слушаем: подпеваем пластинке, как я уже отметила, или просто поем — себе, детям, теперь уже и внукам).

Поэт милостью Божией

Но будут его петь — и слушать, а читать, может быть, даже внимательнее, чем мы, современники, — и дети, и особенно внуки. Тот, по Норвиду, «внуки» или, по Баратынскому, «далекий потомок», возможно, не так пылко отзовется на то, что влекло нас своим откликом на нашу повседневность, но откроет удивительного, непреходящего поэта. Непреходящего и в преходящем, в сугубо индивидуальном, да зачастую и в повседневном: «Я вам описываю жизнь свою, и больше никакую. Я вам описываю жизнь свою, и только лишь свою». И даже для исторического романа он «из собственной судьбы... выдергивал по нитке». Но это и есть путь поэзии: «сердце сердцу знак подает». В конце концов, разве не дорожке всего нам в «Евгении Онегине» так называемые лирические отступления? Разве не разочаровывает нас опера Чайковского, на полном серьезе трактующая одну лишь фабулу, без их противоядия? Себя и только себя мы ищем у поэта: себя — его, и себя — самих себя. «Свою жизнь» — его, становящуюся и нашей.

Окуджав писал по-пушкински легко. Я говорю не о труде, не о широко известных черновиках Пушкина, и не знаю, каковы были и были ли вообще черновики у Булата, — но о том впечатлении Божественной легкости в написанном. Как будто Бог и вправду водил его рукою. Начиная с самых ранних: «Неистов и упрям, гори, огонь, гори...» — и до поздних:

На улице мой судьбы не все возвышенно и гладко...

Но теплых стен скупая кладка? А дым колючим из трубы?

А звук неумершей трубы, хоть все так призрачно и шатко?

А та синица, как загадка, на улице моей судьбы?..

«Не верю в Бога и в судьбу...» — написал он когда-то. Но слово «судьба» встречается в его стихах примерно так же часто, как «надежда», и нет сомнения, что веровал он и в ту, и в другую. О Боге же в вышеупомянутом стихотворении «В карете прошлого», т.е. уже под конец жизни, он задается парадоксальным вопросом: «...пусть Бога нет, но что же значит Бог?» — и вроде бы явно приходит не к теистическому выводу: «А Бог, на все взвешивающий в тиши, — гармония пространства и души». Но верно ли на основании пусть даже глубокой, но все-таки рациональной рефлексии считать поэта отлученным от Богооткровения? Дух дышит, где хочет, — и разве мы не слышим Его отчетливое дыхание в гармонии Окуджавы? И если я не побоялась написать «Тот, Кто водит его рукой», то потому, что отчетливо это вижу и слышу в творчестве Окуджавы. Да, конечно, не во всем — кое-что он писал «сам», не прислушиваясь или невнимательно прислушиваясь к Божественному дуновению, — но в большинстве написанного и в целом без всякого сомнения.

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ

Париж

Написано по просьбе краковского «Тыгодника повсехного».
Опубликовано по-польски в номере от 29 июня.

Собеседник

Памяти Булата Окуджавы

Булат Окуджав сам был истолкователем своего творчества. Во всяком случае, феномена своего начального успеха в 50-е годы. Вот как он написал об этом в автобиографическом рассказе «Подозрительный инструмент», прозрачно зашифровав себя под именем Ивана Ивановича, который на самом деле был Отаром Отарычем: «Ивану Ивановичу было уже за тридцать, когда его жизнь резко перевернулась. Дело в том, что Иван Иванович запел. То есть не просто запел, а стал придумывать мелодии к собственным стихам... Должен заметить, несколько не пытаюсь унижить достоинство Ивана Ивановича, что его некоторый успех был вызван не столько, может быть, его творческими данными, сколько ситуацией, которая господствовала в стране в то время, то есть в пятьдесят шестом — пятьдесят седьмом годах. А было вот что: после XX съезда общество вдруг раскололось, все начали ощущать себя людьми, начали скорбеть об ушедшем, задумались о душе, ну просто обезумели от всяких разочарований, от понимания собственного рабства. Цепи лопались со звоном... И хотя в обществе произошел такой переворот, официальные песни оставались старые, из прежних времен... А Иван Иванович, во-первых, запел о себе, просто о себе, а во-вторых, грустно и откровенно, ибо поводов для грусти было множество — такая уж была в стране ситуация... Короче говоря, он задел какие-то струны интеллигентов, и они жадно откликнулись».

В этом анализе — энтимологическая беспристрастность, холодная несуетность очень трезвого, порядком «глаженного» жизнью человека, принимающая ироничность: как бы вы, господа читатели, не подумали обо мне лучше, чем я есть на самом деле. Что ж, писатель волен смотреть на себя так, как велит ему собственная натура и жизненный опыт, оценивая сделанное им высокопарно и чванно или же с последним самоунижением. Правда, тут есть одна закономерность. Чем значительнее писатель, тем чаще он непомерно суров к своей работе, критичен и внутренне скром. Вспомним, как пренебрежительно высказывался о своей гениальной «Анне Карениной» Лев Толстой. А Чехов полагал, что после смерти его будут читать пять-шесть лет, а потом забудут.

Вот и Булат Окуджав, когда говорит, что его успех был вызван не столько его творческими данными, сколько ситуацией, господствовавшей в стране, атмосферой его жизни, безусловно, самоунижается. Конечно, совпадение со временем — великая вещь, и для любого творчества это уже немало, но сколько мы знаем примеров, когда писатель (драматург, режиссер, художник), однажды совпав со временем, так в нем и остается, хоть прожили он после того еще век. Совпадать с любым временем, какое ни будь на дворе, оказаться нужным и в 60-м, и в 70-м, и 80-м, и даже в 90-м — это уж никак не случайность, не прихоть судьбы, не счастливый лотерейный билет, действие которого, как правило, ограничено указанной на нем суммой; закончилась сумма — и снова в карманах ветер.

Булат Окуджав, совпав с «оттепельным» временем 50-х — начала 60-х, в дальнейшем как творец сам сделался временем — вот разгадка его совпадения и с 60-ми, и 70-ми, и прочими, прочими. Ему оказалось дано не просто жить в определенной эпоху, а формировать ее, создавать ее дух, ее атмосферу. Он стал ее сущностью. Ее плотью и кровью.

Почему? Что за странность? Не

перечисляя, скажем, что не он один писал мелодии к своим стихам и пел их, не он один был так талантлив и изыскан в этом — отчего же другим не выпало такой чести, не досталось этой роли — стать лучшим временем?

Ответ на прозвучавший вопрос нужно искать в самом Окуджаве. Вернее, в его творчестве.

Да, безусловно, Окуджав был в высшей степени искренен и ненапыщен, удивительно естествен даже в своей романтичности, но этого, конечно же, не хватало бы для того, чтобы время избрало его в свои лепшики. У него был редкий, необыкновенный дар, дар собеседничества — вот в чем дело. Пел ли он со сцены, с магнитофонной катушки, а позднее кассеты, с экрана телевизора или из динамика радио, это собеседничество одинаково звучало в его голосе. Он вас не развлекал, он не являл себя вам в своей виртуозной, блестящей артистической сути, чтобы вы полюбовались, насладились его обществом, — он беседовал. Делился своими воспоминаниями о Ленке Королеве, царствовавшем во дворе, ушедшем на войну и не вернувшимся. Обращался к вам под камуфляжем «Старинной студенческой песни» с трогательно-доверчивой просьбой-приказом: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». И, как бы отвечая на заданный вопрос, открывался в сокровенном: «А душа, уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и праведней она».

Умение быть собеседником — великий поэтико-писательский дар, отпускаемый Небом немногим. А между тем именно собеседничества и ждут читатели от писателя. Ну да, учительство, проповедничество, откровение о мире и слове, развлечение, наконец, — всё необходимые составные части писательского дела, но что они стоят, если читателю с тобой не интересно, а то и откровенно скучно, а если все же и интересно, и не скучно, то долго ли он выдержит учительство, не покажется ли ему твое откровение старой, избитой истиной, не надоест ли в конце концов хохотать над твоими клоуновскими ужимками — ведь делу время, потехе час?

Если писателю не дано быть собеседником, читатель, даже и цена его, рано или поздно переметнется от этого писателя своим интересом к другому. Не найдя собеседника в этом другом, отдаст свою любовь третьему. Да, история может быть рассказана писателем с блеском, стихи — поражать виртуозной техникой, но если читатель чувствует, что все это — с холодком и равнодушием, ради убоготворения собственного писательского тщеславия, и никакого интереса к нему, читателю, как личности, то и ответно — холодок и равнодушие, благодарность без любви и особого желания встретиться вновь.

В интонационном строе стихов-песен Булата Окуджавы, в обнаженной доверчивости его речи, в невысокопарной романтичности лексикой было нечто такое, что читатель тотчас ощущал писателя, который разговаривает с ним, а не поучает, беседует, изливая свою душу, а не пророчествует. (И вот, кстати: как по-другому передать эту тонкую субстанцию, создающую ауру поэтической речи, кроме как словом «нечто»?)

Слушатель-читатель не мог не отплатить поэту любовью. Другое дело, что раньше той самой середины 50-х Булат Окуджав просто не мог появиться. Во-первых, нужно было общее воодушевление времени той поры, весенняя капля, чтоб

«Русская мысль»

«Иван Иванович запел». А во-вторых, пусть противу всех внешних обстоятельств он бы запел в конце сороковых или начале пятидесятых — что бы с ним случилось? Понятно что. И не надо в том сомневаться. А ко всему тому еще и магнитофонов тогда не было, так бы и умерли три-четыре его первые песенки среди узкого круга его первых слушателей, которые в большинстве своем разделили бы печальную судьбу соловья.

Но случилось то, что случилось. Оттепель, весна, капель, свежий ветер, всеобщее воодушевление — и тридцать с небольшим лет, молодой еще возраст для человека романтического склада. А разлюбить слушатель-читатель своего соловья мог уже в одном случае: начини тот высокомерничать и упиваться своей обретенной над собеседником властью, примись пророчествовать, учительствовать, витийствовать, потерять естественность своих чувств, прямодушие интонации, глубину переживаний.

Ничего этого с Окуджавой не произошло. Мудреца с годами и становясь усталее, он оставался все тем же замечательным, чудным собеседником — доверяющимся, открытым и равно желающим вашего ответного доверия, — как же можно было отшатнуться от него, потерять возможность общения с ним? Вот так и оказалось, что голос его влился в цветной яркой нитью в тот суровый канат, что представляла из себя эпоха, следовавшая за «оттепелью», и без этой нити представление о ней никогда не будет полным.

Ко всему тому Окуджава начал писать и прозу. То есть он начал писать ее вскоре после того, как запел. Повесть «Будь здоров, школяр» датирована 1960-1961 гг., но тогда, да и позднее, в конце 60-х, когда в серии «Пламенные революционеры» вышла его повесть о Пестеле «Глоток свободы», казалось, что проза для него — нечто вроде отхожего промысла, ремесла на стороне, которым занялся в свободное от главных занятий время. Однако подобное впечатление было обманчивым. Проза оказалась для него таким же серьезным занятием, как и поэзия. И — удивительное дело! — мало-помалу открылось, что и в прозе он такой же замечательный собеседник, как в своих стихах-песнях. То есть собеседничество действительно было дано ему как Дар, который он сумел не протранжирить зазря и попусту, а, храня его в себе, как бы пересечь с уже освоенного места за одним столиком, на одном диване, за другой столик, на другой диван.

«Когда я очнулся, никого рядом не было. Крови натекло с полведра, ей-богу. Откуда взялись силы приподняться, не знаю. Но приподнялся и пополз вдоль сарая, покуда не поравнялся с дверью. Внутри никого не было, но соломы и сена хоть отбавляй, и треногий стол у стенки, а на нем, ей-богу, полкаравая хле-



Буллат Окуджава. Одна из последних фотографий. Фото М.Лемхина.

ба, бутылка с водой и кружка, все свежее, видно, хозяева ушли недавно, так все и бросили. Я кое-как перевязал себе рану, зарылся в сено и не то уснул, не то потерял сознание, и слава Богу, потому что рану начало сильно жечь».

Я взял для цитирования буквально первое место, которое произвольно открылось в верхней из его книг, лежащих сейчас передо мной. Это — из романа «Свидание с Бонапартом». Совершенно очевидно: никаких профессиональных, существующих в прозе приемов, чтобы расположить к себе читателя, заинтересовать его, приковать к рассказу его внимание, — а между тем текст и располагает, и заинтересовывает, и приковывает. Окуджава и в прозе оказался тем же самым собеседником, каким был в стихах-песнях. И — что также весьма существенно для собеседничества — самоироничным.

Эта самоирония особенно замечательно работает в его автобиографических вещах. Кажется, Окуджава даже и выбирает для рассказа истории своей жизни, где можно посмеяться над собой, осудить себя, а то и горько вздохнуть: братцы, вот таким был, сожалею — но это я, а не кто другой. В этом отношении в высшей степени характерен рассказ «Около Ривولي, или Капризы фортуны». Окуджава описывает в нем свое первое пребывание в Париже в далеком 1968-м. (Ну, то есть в рассказе действует тот самый Иван Иванович, который на деле Отар Отарыч, но истинное имя героя нам прекрасно известно).

Герой рассказа, приехавший в Париж как в мировой заповедник всего запретного в Советском Союзе, жадно пытается приникнуть к этому источнику запретного — и вот на площади перед Нотр-Дамом соблазняется покупкой у артистичного молодого человека, как ему кажется, порнографических открыток, потратив едва не треть всех имеющихся у него франков, едет в автобусе, не смея открыть пакетик, до отеля, а когда в одиночестве номера открывает его, то оказывается, что приобрел скверного качества

черно-белые фотографические снимки с полотен великих мастеров прошлого.

А вот герой рассказа после триумфа выступления перед русским Парижем, после записи на студии, что сделало его обладателем весьма приличной для советского человека суммы во франках, оказывается в магазине, где лихорадочно принимается набирать в громадную сумку все, что попадает под руку. Стыдится сам себя — но набирает. Апофеозом этого стыда становится история с магнитофоном, который, едва герой выходит из магазина, падает и перестает работать. Сгорая от стыда, герой уговаривает гида-француза пойти, обменять магнитофон, понимает, что это скверно, и

ничего не может с собой поделать: ему так хотелось такой магнитофон, а денег купить новый больше нет — все потрачено. Поменять магнитофон герою удается. А дальше — еще большая удача: оказывается, в Париже, о чем герой не имел и понятия, вышла его книга, издатель оплачивает двухнедельное пребывание героя в Париже сверх того срока, что он уже здесь пробыл, и вновь гонорар — fortuna улыбается герою во все лицо! С карманом, полным денег, герой бродит по Парижу, наслаждается его видами и набредает, как ему представляется, на кинотеатр порнофильмов. Первая его попытка приобщения к запретному была неудачна, теперь ему должно повезти. Он заходит в «кинотеатр», на лестнице его встречает прекрасная женщина... И вот он наконец, спустя недолгое время, вновь оказывается на улице, но уже без гроша в кармане: то был вовсе не кинотеатр, как герою примнилось по рекламе, а ресторан со стриптизом, где все устроено так, чтобы ободрать посетителя как липку.

Надо непременно отметить, что помимо замечательной собеседнической интонации рассказ еще и восхитительно выстроен — с тем новеллистическим тщанием, с каким невольно выстраивает свою историю в застольном разговоре любой рассказчик, если хочет, чтобы его выслушали. «Не заносись, не гордись, не попустительствувай низкому в себе», — непроницаемое, звучит голосом уже не Ивана Ивановича, а самого Окуджавы за пределами рассказа, когда дочитана последняя фраза. Мораль в настоящем произведении слова не должна быть высказана. Она должна итогом его прозвучать в читательском сознании помимо читательской воли.

Но, конечно же, и тут ничего не поделаешь, так есть, и это неизбежно, прежде всего Булат Окуджава для культуры — поэт, певший свои стихи. Бард. «Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова»; «Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе. Девять граммов в сердце постой — не зови... Не везет мне в смерти, повезет в любви», — эти и другие строки долго еще будут звучать в нас голосом ушедшего поэта.

Долго ли они будут звучать после того, как уйдем мы, знавшие его, слышавшие его вживе и в записях? Знать подобное не дано никому. Вспомним уже помянутого здесь Чехова: он полагал, что его забудут вскоре после смерти. Как нам известно, не забыли. Читают и будут читать. И вот мне кажется: если мы и сейчас поем романсы столетней и даже полустолетней давности, то почему не петь через новые столетия «По смоленской дороге», «Опустите, пожалуйста, синие шторы», «Песенку о ночной Москве»? А будут петь — будут и читать. Наслаждаясь беседой с незаурядным ироничным собеседником из второй половины XX века.

КЛАРА ГУРЬЯНОВА

АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН

Сан-Паулу

Москва

«Ах судьба, что ж ты сделала, подлая...»

«Когда его не станет, я умру», — думала я о себе его словами, но «дворянин с арбатского двора» остается для меня живым, неповторимым, незаменимым. Я уверена, что еще очень долго он будет облагораживать уходящие и приходящие поколения.

В Москве мне не посчастливилось хотя бы издать увидеть и услышать Булата Окуджаву. Без малого 30 лет тому назад, уже здесь, в Бразилии, я начала собирать его поэзию, прозу и пленки с записью песен, и с этих пор он всегда со мной. Он — моя религия, моя вера, надежда и любовь, мой синий троллейбус, моя самая главная песенка, фонаричок, зажегший мне ясный огонь, он — мой язык, наконец, и я не стесняюсь пользоваться его словами: лучше их я бы не нашла, чтобы высказать, насколько он мне дорог, важен и необходим.

Спасибо всем, кто о нем так прекрасно написал, спасибо «Русской мысли» за публикацию этих откликов. Боюсь только, что Оле и Буле от них, может быть, становится еще больнее. Но печаль велика, и тем, кто знал Булата, пусть даже только заочно, а узнав, не мог не полюбить, было бы невозможно не выразить ей.

Вот и я пишу эти строки, просто чтобы разделить эту печаль с вами, здесь-то почти не с кем. Спасибо Булату за его чистоту, за счастливую грусть (или грустное счастье), которые испытываешь, слушая и читая его и о нем.